



Жорж Санд
КОНСУЭЛО

Том II

перевод Александры Бекетовой

МИО

Жорж Санд

КОНСУЭЛО

ТОМ II



Перевод с французского
Александры Бекетовой

Москва
МИФ
2025



ГЛАВА LX

Консуэло была девушкой рассудительной и обладала возвышенной душой, а потому не могла не знать, что из двух чувств, которые она внушала, наиболее искренним, наиболее благородным и наиболее ценным было, без сомнения, чувство Альберта. Теперь, когда оба очутились перед нею, ей сначала показалось, что она одержала победу над своим врагом. Глубокий взгляд Альберта, словно проникший ей в душу, долгое и крепкое пожатие его преданной руки дали ей понять, что он знает, чем кончился ее разговор с графом Христианом, и готов с покорностью и признательностью ждать своего приговора. В самом деле, Альберт не надеялся даже на такой ответ, и теперь его радовала самая нерешительность Консуэло — до того он был далек от самонадеянной заносчивости Андзолето. Последний, наоборот, вооружился всей своей самоуверенностью. Примерно догадываясь о том, что происходит в замке, он решил идти напролом, рискуя даже быть выброшенным за дверь. Его развязные манеры, иронический, дерзкий взгляд вызывали в Консуэло глубочайшее отвращение, а когда он с наглым видом подошел, намереваясь вести ее к столу, она отвернулась и взяла руку, предложенную ей Альбертом.

Как всегда, молодой граф сел напротив Консуэло, — старый Христиан усадил ее налево от себя, на место, прежде

занимаемое Амалией, а после ее отъезда предоставленное Консуэло. Но вместо капеллана, обычно сидевшего слева от Консуэло, канонисса пригласила сестр между ними мнимого братца; таким образом, едкие колкости, тихо произносимые Андзолето, могли достигать ушей молодой девушки, а непочтительные остроты, как он и рассчитывал, — вызывать негодование старого священника.

План Андзолето был чрезвычайно прост: он хотел возбудить к себе ненависть, стать невыносимым для тех членов семьи, которые, как он чувствовал, были настроены враждебно к предполагаемому браку; своими дурными манерами, фамильярным тоном, неуместными речами он рассчитывал создать самое отвратительное представление о среде и родственниках Консуэло. «Посмотрим, — говорил он себе, — переварят ли они «братца», которого я им преподнесу».

Андзолето, недоучившийся певец и посредственный трагик, был прирожденным комиком. Он достаточно насмотрелся на светское общество и научился подражать изысканным манерам и любезным речам благовоспитанных людей, но подобная роль могла только примирить канониссу с низким происхождением невесты, а потому он начал показывать себя совсем с другой стороны, с тем большей легкостью, что она была ему гораздо более свойственна. Убедившись в том, что Венцеслава, намеренно говорившая только на немецком языке, принятом при дворе и в благонравном обществе, тем не менее не пропускает ни одного из сказанных им итальянских слов, Андзолето стал без умолку болтать, то и дело прикладываясь к доброму венгерскому вину, действия которого он ничуть не опасался, ибо давно уже привык к самым крепким напиткам; он, однако, притворился, будто всецело находится под влиянием жгучих винных паров, желая выставить себя завзятым пьяницей.

План его удался как нельзя лучше. Граф Христиан, сначала снисходительно смеявшийся над его шутовскими выходками, вскоре стал только натянуто улыбаться и вынужден был призвать на помощь всю свою светскую обходительность, все свои отеческие чувства, чтобы не поставить на место несносного юношу, который мог стать шурином его благородного сына. Капеллан не раз в негодовании подпрыгивал на стуле, бормоча по-немецки нечто напоминающее заклинание злых духов. Обед был для него, таким образом, совершенно испорчен, и никогда в жизни его пищеварение так не страдало. Канонисса слушала все невоздержанные, грубые речи гостя со скрытым презрением и несколько злорадным удовольствием. При каждой новой выходке Андзолето она поднимала глаза на брата, словно призывая его в свидетели, а добродушный Христиан опускал голову, силясь каким-нибудь, не всегда удачным, замечанием отвлечь внимание слушателей. Тогда канонисса бросала взгляд на Альберта, но Альберт был невозмутим — казалось, он не видит и не слышит своего бесцеремонного веселого гостя.

Из всех присутствующих более всех была удручена, несомненно, бедная Консуэло. Сначала она подумала, что распушенность и циничность Андзолето, которых она раньше в нем не замечала, являются результатом его развратной жизни, ибо никогда прежде он не бывал таким в ее присутствии. Это настолько возмутило и поразило ее, что она хотела даже уйти из-за стола. Но когда она поняла, что все это не что иное, как военная хитрость, то вновь обрела хладнокровие, свойственное этой скромной и полной достоинства девушке. Она никогда не стремилась проникнуть в тайны и во взаимоотношения семьи Рудольштадтов, чтобы разными происками добиться положения, которое ей ныне предлагали. Это положение ни на минуту не польстило ее тщеславию, и совесть говорила ей, насколько несправедливы обвинения, тайно возводимые

на нее канониссой. Она знала, она прекрасно видела, что любовь Альберта, доверие его отца выше этого ничтожно-го испытания. Презрение, внушаемое ей низким и злобным в своей мести Андзолето, придало ей еще больше силы. Глаза ее лишь раз встретились с глазами Альберта, и они поняли друг друга. Консуэло сказала: «Да», а Альберт ответил: «Несмотря ни на что!»

— Подожди радоваться, — шепнул ей Андзолето, перехвативший и истолковавший этот взгляд по-своему.

— Вы очень добры ко мне, благодарю вас, — ответила Консуэло.

Они переговаривались с быстротой, свойственной венецианскому наречию, которое состоит словно из одних сливающихся друг с другом гласных, так что итальянцы Рима и Флоренции сами на первых порах с трудом его понимают.

— Я сознаю, что в эту минуту ты ненавидишь меня, — говорил Андзолето, — и воображаешь, что будешь ненавидеть вечно, но все-таки тебе от меня не уйти.

— Вы слишком рано сбросили маску, — сказала Консуэло.

— Но не слишком поздно, — возразил Андзолето. — Сделайте милость, *padre mio benedetto*^{*}, — обратился он к капеллану, толкнув его под локоть так, что тот пролил на свои брыжи половину вина, которое подносил ко рту. — Пейте смелее это славное винцо, оно столь же полезно для души и тела, как вино святой мессы!

— Ваше сиятельство, — обратился он к старому графу, протягивая свой бокал, — у вас там с левой стороны, возле самого сердца, стоит в запасе флакончик из желтого хрусталя, горящий, как солнце. Уверен, что стоит мне выпить одну каплю этого нектара, и я превращусь в полубога.

^{*} Благочестивый отец мой (*итал.*).

— Берегитесь, дитя мое, — проговорил граф, положив худую руку в перстнях на граненое горлышко графина, — вино стариков порою сковывает уста молодым.

— От злости ты стала красива, как бесенок, — заметил Андзолето своей соседке на чистом итальянском языке, чтобы все его поняли. — Ты напоминаешь мне Дьяволицу из оперы Галуппи, которую ты так чудесно сыграла в прошлом году в Венеции. Кстати, ваше сиятельство, долго вы намерены держать здесь мою сестрицу в вашей золоченой, обитой шелком клетке? Предупреждаю: она птичка певчая, а птица, которой не дают петь, быстро теряет оперение. Я понимаю, что она счастлива здесь, но та славная публика, которую она свела с ума, настойчиво требует ее возвращения. Что касается меня, то, подари вы мне ваше имя, ваш замок, все вина вашего погреба с вашим почтеннейшим капелланом в придачу, я ни за что не расстанусь с моими театральными лампами, моими котурнами и моими руладами.

— Вы, стало быть, тоже актер? — сухо, с холодным презрением спросила канонисса.

— Актер, шут, к вашим услугам, *illustrissima** , — без всякого смущения отвечал Андзолето.

— И у него есть талант? — спросил у Консуэло старый граф Христиан со свойственным ему добродушным спокойствием.

— Ни малейшего, — промолвила Консуэло, с сожалением глядя на своего противника.

— Если это так, то ты себя же порочишь, — сказал Андзолето, — ведь я твой ученик. Однако надеюсь, — продолжал он по-венециански, — что у меня хватит таланта, чтобы смешать твои карты.

— Вы навредите только самому себе, — возразила Консуэло на том же наречии, — дурные намерения загрозняют

* Ваша светлость (*итал.*).

сердце, а ваше сердце потеряет при этом гораздо больше, чем вы заставите меня потерять в сердцах других.

— Очень рад, что ты принимаешь мой вызов. Начиная же, прекрасная воительница! Как ни опускаете вы свое забрало, а я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх.

— Увы! Вы можете прочесть в них лишь глубокое огорчение. Я думала, что смогу забыть, какого презрения вы достойны, а вы стараетесь мне это напомнить.

— Презрение и любовь зачастую отлично уживаются.

— В низких душах.

— В душах самых гордых, так было и будет всегда.

Так прошел весь обед. Когда перешли в гостиную, канонисса, желая, по-видимому, потешиться наглостью Андзолето, попросила его что-нибудь спеть. Он не заставил себя упрашивать и, ударив сильными пальцами по клавишам старого, дребезжащего клавесина, запел одну из тех залихватских песен, которыми оживлял интимные ужины Дзустиньяни. Слова были малопристойны, и канонисса не поняла их, но ее забавлял пыл, с каким пел Андзолето. Граф Христиан не мог не восхититься красивым голосом певца и необычайной легкостью исполнения и теперь простодушно наслаждался, слушая его. После первой песни он попросил Андзолето спеть еще. Альберт, сидя подле Консуэло, ничего, казалось, не слышал и не проронил ни слова. Андзолето вообразил, будто молодой граф раздосадован и сознает, что над ним наконец одержали верх. Он позабыл о своем намерении разогнать слушателей непристойными ариями и, убедившись, что либо из-за наивности хозяев, либо из-за их незнания венецианского наречия это совершенно напрасный труд, поддался соблазну покрасоваться и запел ради удовольствия петь; кроме того, ему хотелось показать Консуэло свои успехи. Он и в самом деле подвинулся вперед в тех пределах, какие были для него доступны. Голос его, быть может, потерял свою первоначальную свежесть, разгульная жизнь

лишила его юношеской мягкости, зато теперь Андзолето лучше владел им и с большим умением преодолевал трудности, к которым его всегда влекло. Он пел хорошо и получил много похвал от графа Христиана, канониссы и даже капеллана, любителя виртуозных пассажей, не способного оценить манеру Консуэло, слишком простую и естественную, чтобы быть изысканной.

— Вы говорили, что у него нет таланта, — сказал граф, обращаясь к Консуэло, — вы слишком строги или слишком скромны в отношении своего ученика. Он очень талантлив, и наконец-то я вижу в нем что-то общее с вами.

Добрый Христиан хотел этим маленьким триумфом Андзолето загладить унижение, которое перенесла мнимая сестра из-за его выходов. Он усиленно подчеркивал достоинства певца, а тот слишком любил блистать, да и скверная роль, навязанная им самому себе, начала уже надоедать ему, и, заметив, что граф Альберт становится все более задумчив, Андзолето снова сел за клавиш. Канонисса, дремавшая обыкновенно при исполнении длинных музыкальных пьес, попросила спеть еще какую-нибудь венецианскую песенку, и на этот раз Андзолето выбрал более приличную. Он знал, что лучше всего ему удавались народные песни. Даже у Консуэло особенности венецианского наречия не звучали так естественно и отчетливо, как у этого сына лагун, прирожденного певца и мима.

Он так чудесно изображал то грубоватую вольность рыбаков Истрии, то остроумную, удалую бесшабашность гондольеров Венеции, что невозможно было без живого интереса слушать его и смотреть на него. Его красивое, подвижное и выразительное лицо становилось то суровым и гордым, как у первых, то ласковым и насмешливо-веселым, как у вторых. Его безвкусный, кокетливый наряд, от которого за милую отдавало Венецией, еще усиливал впечатление и в данный момент не только не портил его, но и, напротив, ему шел. Консуэло, вначале безразличная,

вскоре вынуждена была притвориться холодной и рассеянной. Волнение все более и более охватывало ее. В Андзолето она узнавала всю Венецию, а в этой Венеции — всего Андзолето прежних дней, с его беспечным нравом, целомудренной любовью и ребяческой гордостью. Глаза ее наполнились слезами, а забавные пассажи Андзолето, смешившие других, будили в ее сердце глубокую нежность.

После народных песен граф Христиан попросил Андзолето исполнить духовные.

— О, что касается этих песнопений, я знаю все, какие только исполняются в Венеции, но они на два голоса, и если сестра — а она тоже их знает — не захочет петь со мной, то я не смогу исполнить желание ваших сиятельств.

Все тотчас стали упрашивать Консуэло. Она долго отказывалась, хотя ей самой очень хотелось петь. Наконец, уступая просьбам добрейшего Христиана, стремившегося примирить ее с братом и старавшегося показать, что сам он совершенно примирился с ним, она села подле Андзолето и с трепетом начала одну из длиннейших духовных песен на два голоса, разделенных на строфы по три стиха, которые в Венеции во время Великого поста поются по целым ночам перед каждой статуей Мадонны, поставленной на перекрестке. Ритм этих песен скорее веселый, чем грустный, но в монотонности припева и поэтичности слов чувствуется какое-то языческое благочестие, звучит сладостная меланхолия, которая мало-помалу овладевает вами и наконец совсем зачаровывает.

Консуэло, подражая женщинам Венеции, пела нежным, приглушенным голосом, а Андзолето — резким, гортанным, как поют тамошние юноши. При этом он импровизировал на клавесине аккомпанемент, тихий, непрерывный и легкий, напоминавший его подруге журчание воды у каменных плит и шелест ветерка в виноградных лозах. Ей почудилось, что она в Венеции в волшебную

летнюю ночь, одна под открытым небом у какой-нибудь часовенки, увитой виноградом, освещенной трепетным сиянием лампы, отражающимся в слегка подернутых рябью водах канала. О, какая разница между зловещим, душераздирающим волнением, которое испытала она утром, слушая скрипку Альберта у других вод — неподвижных, черных, молчаливых, полных призраков, и этим видением Венеции — с ее дивным небом, нежными мелодиями, лазурными волнами, где мелькают то блики от быстро скользящих огней, то лучезарные звезды! Андзолето как бы возвращал ей это чудное зрелище, воплощавшее для нее жизнь и свободу, тогда как пещера, странные и суровые напевы древней Чехии, кости, освещенные зловещим светом факелов, отражающихся в воде, где таились, быть может, такие же наводящие ужас реликвии, аскетическое, бледное, восторженное лицо Альберта, мысли о неведомом мире, символические картины, мучительное возбуждение от непонятных чар — все это было слишком тяжело для мирной и простой души Консуэло. Чтобы проникнуть в эту область отвлеченных идей, ей пришлось сделать усилие, на которое ее живое воображение было вполне способно, но при этом все существо ее надломилось, истерзанное таинственными муками, непосильным очарованием. Пылкая натура Консуэло, уроженки юга, больше даже, чем воспитание, восставала против сурового посвящения в мистическую любовь. Альберт олицетворял для нее дух Севера, суровый, могучий, порой величественный, но всегда печальный, как ветер ледяных ночей, как приглушенный голос зимних потоков. Его мечтательная, пытливая душа все вопрошала, все превращала в символы — и бурные грозовые ночи, и путь метеоров, и строгий, гармоничный шум леса, и полустертые надписи древних могил. Андзолето, напротив, был олицетворением юга, природы, распаленной и оплодотворенной горячим солнцем и ярким светом, природы, вся поэзия которой

заклучалась в пышном цветении, а гордость — в богатстве жизненных сил. Он жил только чувством, стремился к наслаждениям, в нем были беспечность и бесшабашность артистической натуры, своего рода неведение или равнодушие к понятию о добре и зле, умение ловить счастье, презрение к голосу рассудка или неспособность рассуждать — словом, то был враг и противник всего духовного.

Между этими двумя людьми, из которых каждый был связан со средой, враждебной другому, Консуэло оказалась так же бессильна, так же не способна проявить энергию и действовать, как душа, отделенная от тела. Она любила прекрасное, жаждала идеала, и Альберт знакомил ее с этим прекрасным, предлагал ей этот идеал. Но Альберт, чье развитие было задержано недугом, слишком отдавался духовной жизни. Он так мало знал о потребностях жизни действительной, что часто терял способность ощущать собственное существование. Он не представлял себе, что мрачные идеи и предметы, с которыми он сжился, могут под влиянием любви и добродетели внушить его невесте иные чувства, кроме восторженной веры и нежной привязанности. Он не предвидел, не понимал, что увлекает ее в атмосферу, где она погибла бы, как тропическое растение в полярном холоде. Словом, он не понимал, какое насилие она должна была совершить над собой, чтобы всецело проникнуться его думами и чувствами.

Андзоле, напротив, рая душу Консуэло и возмущая во всех отношениях ее ум, в то же время вмещал в своей могучей груди, развившейся под дуновением благотворных ветров юга, живительный воздух, в котором Цветок Испании (как он, бывало, называл Консуэло) нуждался, чтобы ожить. Он воскресил перед ней жизнь, полную чудесного бездумного созерцания, мир простых мелодий, светлых и легких, спокойное, беззаботное прошлое, где было так много движения, наивного целомудрия, честности без

усилий, набожности без размышления. Это было подобно существованию птицы. А разве артист не похож на птицу и разве не следует человеку испытать немного от кубка жизни, общего для всех творений, чтобы самому стать совершеннее и направить к добру сокровища своего ума!

Голос Консуэло звучал все нежнее и трогательнее по мере того, как она невольно поддавалась влиянию тех смутных сил, о которых я упомянул вместо нее и которым уделил, быть может, слишком много времени. Да простится мне это! Иначе было бы трудно понять, вследствие какой роковой изменчивости чувств эта девушка, такая разумная, такая искренняя, за четверть часа перед тем с полным основанием ненавидевшая коварного Андзолето, забылась до того, что с наслаждением слушала его голос, касалась его волос, ощущала его дыхание. Гостиная, как уже известно читателям, была слишком велика, чтобы быть достаточно светлой, да и день уже клонился к вечеру. Пюпитр клавесина, на который Андзолето поставил толстую нотную тетрадь, скрывал их от тех, кто сидел на некотором расстоянии, и головы певцов все более и более сближались. Андзолето, аккомпанируя уже только одной рукой, другой обнял гибкий стан своей подруги и незаметно привлек ее к себе. Шесть месяцев негодования и горя исчезли из памяти молодой девушки, как сон. Ей казалось, будто она в Венеции и просит Мадонну благословить ее любовь к красавцу жениху, который был предназначен ей ее матерью, а теперь молился вместе с ней, рука об руку, сердце к сердцу. Она не заметила, как Альберт вышел из комнаты, но самый воздух показался ей теперь легче, сумерки — мягче. Внезапно, по окончании одной строфы, она почувствовала на своих губах горячие губы своего первого жениха. Сдержав крик, она склонилась над клавиатурой и разрыдалась.

В эту минуту вернулся граф Альберт; он услышал ее рыдания, увидел оскорбительную радость Андзолето.